

БЛИНДАЖ

Повесть*

Не так давно в домашнем архиве Василя Быкова была обнаружена неоконченная повесть «Блиндаж», написанная им еще в 1987 году. Библиотечка журнала «Дзеяслоў» (Минск) в 2007 году издала эту повесть отдельной книжкой. Подготовил ее к публикации Алесь Пашкевич. Он упорядочил текст, из авторских набросков «смонтировал» план заключительных разделов, что представлено в конце текста курсивом как дополнение к основной канве повести.

Валерий СТРЕЛКО,
переводчик, член Союза белорусских писателей,
член Национального Союза писателей Украины

«Прывітанне, яснавялебны куме! Прашу прабачэння за клопаты, але дасылаю Вам прадмоўку да «Блиндажа» і прашу перакінуць яе хану Беразевічу з усімі нашымі найлепшымі пажаданнямі. Думаю, што пераклад аповесці — не найлепшы (часам — падрадкоўнік), але ж хай там надшкрабуць у рэдакцыі і падпрацяць. Можна, на чэрвеньскі нумар і пойдзе? А калі не — я узбунтую слуцка-татарскія народы і павяду іх на Новасібірск!!! Да сустрэчы».

Из письма А. ПАШКЕВИЧА,
переданного в редакцию журнала

КОВЧЕГ БЫКОВА

После настоящих писателей остаются прижизненные публикации. После великих — прижизненные архивы.

О них — своих архивах — не особенно заботился Василь Быков. И характер у него был не «забронзовевший», и время не способствовало доверительности. А потому после Быкова не осталось пронумерованных и упорядоченных рукописей, самое потаенное доверялось спутнице-жене Ирине Михайловне, немногим друзьям или огню дачного камина. После Быкова остались его правда, его дело, его боль, его книги и... неопубликованные рукописи.

Архив Василя Быкова сохранил неизвестную повесть «Блиндаж», почти завершённую в 1987 году и не оконченную до последнего в жизни писателя 2003-го. Остались 77 страниц машинописи, несколько страниц рукописных вставок, наброски-планы в отдельном блокноте и авторская карта, на которой происходят события повести (деревня, домик Серафимки, шоссе, кустарник, траншеи перед холмом, разбитая пушка, блиндаж).

В одном из писем к своему другу, талантливому критику Игорю Дедкову, 20 декабря 1987 года В. Быков признается:

«Выжив Алесь Адамовича, берутся за Виктора Коваленку, Светлану Алексиевич, тихо обкладывают Быкова — чтобы лучше было взять. Считается, что режиссер всего этого Павлов (заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ. — А.П.), которого направляет Севрук (заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. — А.П.). Но не только они, конечно. В этой истории показали свою двойную душу некоторые наши общие знакомые. <...> А вообще работаете скверно, начал и бросил новую повесть — не удовлетворяет».

Так высказался В. Быков о повести «Блиндаж». А думал о ней — до последнего своего дня; в блокноте, куда вписывались дополнения к воспоминаниям «Долгая дорога домой», на отдельной странице рукою В. Быкова записано-напомнено, как обозначено на верстовом столбе творческих дорог: «Блиндаж (Серафимка)».

Повесть «Блиндаж», которая задумывалась и писалась после «Карьера» перед «Облавой», обостренно-Быковская, типично-Быковская. Как типична для Беларуси вырисованная в тексте истребленная сталинизмом и нацизмом деревенька Любаши родной Быкову Полотчины, как символический образ Серафимы Тарасевич, «темной» колхозницы, которая в год могла «выгнать»

* Перевод с белорусского В. Стрелко.

пятьсот двадцать трудовней и не иметь претензий за убитого единственного брата — учителя и «врага народа». Человек в «неслыханном, исключительном» (В. Быков) положении — вот основной лейтмотив «Блиндажа». И главная героиня Серафимка, и слепой после ранения капитан Хлебников, и дезертир немец Хольц, и «идейный» большевик Демидович, и сумасшедший еврей Нохем, и сын раскулаченного, «путаный человек», антисемит Кочан, и полицаи Пилипенки — поставлены в такие испытания, где между белым и черным нет границы.

Сюрреалистическая коллизия для будничной жизни и будничная для военной собирает в тесном блиндаже героев повести. Все ждут спасения, а блиндаж превращается в Серафимин ковчег. Сама же повесть стала для В. Быкова, думается, своеобразным «творческим полигоном»: здесь испытывались новые идейно-тематические решения (сталинщина уподоблялась нацизму, высвечивалась обида репрессированных), нащупывались стиливые находки будущих притчей (под одной крышей и за одним горшочком затирки — офицер-красноармеец, фашист, большевик, полицаи), филигранилось композиционное мастерство (сюжетное разветвление-«нанизывание» завершалось продуманной финальной развязкой). Филигранилось до последнего дня писателя, поскольку повесть так и осталась незавершенной. Незавершенной на бумаге.

О фабуле развязки повести можно узнать из авторских записей и набросков, по которым и удалось «смонтировать» план заключительных глав (они в публикации подаются курсивом).

Таким получился давний и неизвестный «блиндаж-ковчег» Василя Быкова. Только выживут в нем не все и не всё. И останутся Быковская правда, честь и боль, а также — внимательно перечитанная машинопись так и не сданной в печать повести...

Алесь ПАШКЕВИЧ

1. Серафимка

Холодный мелкий дождь сыпал с неделю, поливая и без того промокшую землю. Дорога целиком раскисла, грязь расплзалась под ногами, мутные лужи заполнили колеи, стекать им было некуда. Даже тропа сбоку за канавой и та не высыхала в течение тех коротких промежутков, когда ненадолго утихал дождь, была скользкой и холодной. Удобней всего идти было по мелкой, тоже измокшей травке вдоль картофельного поля, кое-где выкопанного, с разбросанной, порыжелой ботвой, а где и с нетронутыми еще бороздками. Картошка, судя по всему, пойдет под снег, вымерзнет, копать ее уже некому — деревни, считай, не стало, выгорела, порушилась до основания эта небольшая деревенька. Да и другим тут досталось, видать, не меньше, и теперь из-за обожженных деревьев торчали закопченные печи с обломанными трубами, остатками зловонного дыма дышали недогоревшие пепелища. Еще бы — столько ужасных дней все здесь гремело от жутких взрывов, ходуном ходила земля, воздух сплошь визжал и скрежетал.

А от дыма нельзя было продохнуть даже в яме на свекловичнике, где пряталась тетка Серафимка. Все вокруг горело, тлело и дымилось: и хаты, и хлевки, и риги — и она боялась даже выглянуть на свет божий, чтобы рассмотреть, стоит ли еще ее хатка. Уже, может, с десятков ужасающих взрывов громыхнуло во дворе и в огороде, сырой пласт суглинка обрушился в яме, привалив ее босые ноги, сверху яму засыпало чернотой, перемешанной со мхом, соломой с хлевка. Но хата не сгорела. Серафимка обрадовано уставилась на нее, как только несмело выбралась из ямы под вечер в пятницу, когда все здесь утихло, смолкло, помертвело. И она сама себе не поверила: неужто уцелела? Хатка, однако, уцелела с натяжкой, ведь половины кровли на ней как ни бывало — будто вихрем снесло, а вторая половина плоско укрыла стропилами чердак без дымохода, черные кирпичи от которого разбросало по всему огороду. Пострадали все три окошка, битое стекло валялось вокруг, и Серафимка, боясь изрезать босые ноги, встала возле сломанного забора и горько заплакала...

За картофельным полем нужно было повернуть по кособокому в лог, где из-за кустарника широко выглянул громадный луговой простор: давний выработанный торфяник, ныне черный, пустой, залитый в канавах да ямах застоявшейся водой. Там и далее искони простиралось болото с чахлыми клочками кустов, ольшаника, редкими островками низкорослого болотного сосняка; через него, впрочем, бежал старинный мощный тракт, за который, видно, и разгорелась эта военная потасовка. Накануне красноармейцы несколько дней копали пригорок, откос, окапывались на краю торфяника, накопили уйму причудливо-извилистых нор, ямин, круглых, что сковорода, площадок — для пушек, что ли?

Вчера под вечер, когда Серафимка, страшаясь и крайне любопытствуя одновременно, подошла к тому пригорку, то даже присела от внезапного внутреннего ужаса — ниже, возле кустиков на краю вывернутых из глубины отвалов земли, лежала на боку небольшая пушечка с коротким стволом, и за нею ничком обвис на железной станине мертвый красноармеец, сплошь обсыпанный мелкими комьями земли. Она долго всматривалась в него издали, думала, вдруг шевельнется, может, еще живой? Но, увы, не пошевелился убитый; она поняла это, когда все же подошла ближе и заметила на его стриженном затылке расплывшееся пятно засохшей крови. Она еще повглядывалась в него, стараясь как-то одолеть свой страх, да так и не одолев его, помалу подошла по траве к пушечке. Лица убитого не было видно, и не поймешь, какого он возраста, разве что его тонковатая шея, которая высывалась из распахнутого ворота гимнастерки, позволяла полагать,

что это совсем еще молодой парень. Должно быть, он лежал здесь несколько дней, его гимнастерка на спине ошершавела и подсохла на ветру, а бока и все иное под ним было сырое и темное — от дождя или крови. Серафимка подошла совсем близко, ступила на груды сырой мягковатой земли, за которой открывалась глубокая узкая ямина, боязливо заглянула туда и ужаснулась еще пуще: в яме тоже лежали убитые.

Нельзя сказать, что Серафимка так уж боялась неживых людей — за свои сорок лет она успела повидать покойников — мужчин и женщин, молодых и старых, схоронила отца, но тогда было все не так. Там были издавна знакомые, свои, родичи, да и покойники совсем не то что убитые, окровавленные да покалеченные солдаты.

Серафимка тогда, почти не чуя под собою ног, напрямик через картофлянище быстро ушла отсюда подальше — к своей убогой, без кровли, хатке на краю недалекой разрушенной деревеньки: там была хоть какая-то защита от ужаса военного поля боя. Весь недолгий путь домой, затем в хатке, которую она кое-как приспособила под жилье (позатыкала выбитые окна, приладила поломанные двери и даже попробовала затопить печь, но дым сразу повалил обратно, и она загасила головни), всю ночь потом в ее глазах стояли неподвижные, засыпанные землей спины, запрокинутые головы убитых, окровавленный бинт на голом, с разрезанным рукавом плече одного из них. А назавтра, кое-как дождавшись ленивого позднего рассвета, она вытащила из-под дровяника ржавую лопату и, побаиваясь, посеменила через поле к тому ужасному кособокому над торфяником.

Однако по мере приближения к гривке кустарника все менее оставалось у нее решимости, страх пронимал все больше, и она не пыталась одолеть его, она уже свыклась с ним за эти кошмарные дни. Теперь жила она с ним каждодневно, не расставаясь и ночью, в своих коротких птичьих снах, пробуждаясь раз по пяти до рассвета. Правда, после того побоища все вокруг стихло, будто оцепенело, лишь вчера в небе несколько раз гудели аэропланы, но чьи они были и куда летели — она не знала. Она не имела понятия, куда откатилась война, или, может, на том все и кончилось. Все всех поубивали — и наших, и немцев — и здесь поблизости не осталось никого. Не осталось также и в деревне — одни убежали дальше, за местечко, еще накануне боя, другие вообще исчезли неизвестно куда. Красноармейцы тогда выгоняли всех, говорили, здесь оставаться опасно, будет большая свалка, и ее тоже убеждали выбираться. Но она не ушла никуда, хотя и соглашалась тогда пойти. И, видать, напрасно не пошла, позже не раз сетовала на свою дурость, но разве она предполагала, что будет настолько страшно. Такой ужас! Конец света, ад и кровавое погромище. Тогда думалось: ну постреляют на поле или в деревне, возможно, даже убьют ее, но ей что, плакать по ней некому, как и ей по кому-то. Серафимка давно жила тут одна, бобылкой, без семьи, которой у нее не завелось с юности, а родня... Родственников близких тоже не осталось, а дальние были далеко, так что, если погибнет, слез по ней будет немного. А то и вовсе не будет. Может, оно и к лучшему.

Убитый лежал ничком на станине; невдалеке, на кусте шиповника, сидела-ожидала серая ворона, которая неохотно сорвалась с ветки и куда-то улетела, когда Серафимка подошла ближе. Шаг ее замедлился. Женщина напряглась, вновь стало страшно, так ведь... негоже оставлять воронью убитых бедолаг, нужно их укрыть землей, и, похоже, сделать это здесь уже некому. Своих, красноармейцев, видно, не осталось, или, быть может, они отступили дальше. О погребении нужно позаботиться ей. Жалость к погибшим подгоняла Серафимку, и она же, эта жалость, помогала ей хоть немного преодолевать свой страх.

Она подошла к широкой воронке-яме, заглянула в нее. Суглинистые выворотни громоздились по краям, комья земли обсыпали всю стерню вокруг, но больше всего — пушчонку и беднягу, убитого при ней. Как за него взяться — она не знала, постояла рядом, подавленно вглядываясь в его разбитый, в засохшей крови, затылок. Затем, отставив лопату, дотронулась до его плеча, попыталась повернуть. Убитый не стронулся с места, словно окаменел, и она снова взялась за него и с большими усилиями едва перевернула на бок. Это и вправду был молоденький солдатик с худым узким личиком, один глаз его был как-то очень уж зажмурен или, может, заплыл, а другой, будто остекленевший, недоуменно вглядывался в даль. Его подsunутые под себя, прижатые к груди руки так и остались прижатыми, с грязными растопыренными пальцами. Что делать дальше — она просто не знала. Понятно, нужно хоронить, но как? Она оглянулась, и вновь ее взгляд наткнулся на яму рядом с теми же убитыми.

«Никак их складывали туда, да не успели зарыть», — подумала Серафимка и подошла к яме ближе. Вряд ли складывали — как-то очень уж беспорядочно они помещались там: двое сидело на дне, уткнувшись головами в земляную стену этой тесноватой ямины, третий лежал боком, повернув голову в пилотке к забинтованному плечу. Бинт на нем был сплошь в сухих пятнах крови, кровь была на его груди и виднелась на ложе винтовки, что торчала вблизи из-под накиданной взрывом земли.

Спуститься в яму, чтобы там поправить их позы, Серафимка не осмелилась, на такое она уже, пожалуй, не была способна. Она лишь с отчаянной решимостью взяла под мышки убитого и потащила его к яме. Убитый оказался довольно тяжелым, загребая землю, немного передвинулся, но его брезентовая сумка, висевшая на левом боку, зацепилась за станину и не позволяла волочить дальше. Серафимка положила убитого на землю, отцепила сумку. Верно, сумку нужно было снять, но она не хотела ничего здесь переиначивать, думая: пусть они так уж и остаются в земле со своим имуществом. Она все же сумела подволочь тело к ямине и, придерживая за натянутую подогнутую руку, боком опустила его в яму рядом с теми, кто уже навсегда расположился там. Затем старательно перекрестила всех в яме, перекрестилась сама и взялась за лопату.

Закапывала она долго, с перерывами, даже угрелась, расстегнула заношенный хлопчатобумажный сак, сдвинула с головы темный платок. Дождик будто бы прекратился, но ветер не унимался, небо было сплошь